

Александр Блок

**Судьба Аполлона  
Григорьева**



Александр Александрович Блок

## Судьба Аполлона Григорьева

«Пятьдесят лет тому назад умер Аполлон Александрович Григорьев, замечательный русский поэт и мыслитель сороковых годов. Из сочинений его издана весьма малая часть: томик стихов и первый том „Сочинений“; то и другое теперь – библиографическая редкость (особенно стихи). О Григорьеве не написано ни одной обстоятельной книги; не только биографической канвы, но и ученой биографии Григорьева не существует. Для библиографии Григорьева, которая могла бы составить порядочную книгу, не сделано почти ничего. Где большая часть рукописей Григорьева – неизвестно...»

# Содержание

Александр Блок Судьба Аполлона Григорьева . . . .	
0004	
1 . . . . .	0005
2 . . . . .	0012
3 . . . . .	0019
4 . . . . .	0027
#6 . . . . .	0039
5 . . . . .	0046
6 . . . . .	0053
7 . . . . .	0057
#10 . . . . .	0067
#11 . . . . .	0068

**Александр Блок**  
**Судьба Аполлона Григорьева**

Пятьдесят лет тому назад умер Аполлон Александрович Григорьев, замечательный русский поэт и мыслитель сороковых годов. Из сочинений его издана весьма малая часть: томик стихов и первый том «Сочинений»; то и другое теперь – библиографическая редкость (особенно стихи). О Григорьеве не написано ни одной обстоятельной книги; не только биографической канвы, но и ученой биографии Григорьева не существует. Для библиографии Григорьева, которая могла бы составить порядочную книгу, не сделано почти ничего. Где большая часть рукописей Григорьева – неизвестно.

Судьба культуры русской определяется на наших глазах. В наши дни «вопрос о нашей самостоятельности» (выражение Григорьева) встал перед нами в столь ярком блеске, что отвернуться от него уже невозможно. Мне кажется общим местом то, что русская культура со смерти Пушкина была в загоне, что действительное внимание к ней пробудилось лишь в конце прошлого столетия, при пер-

вых лучах нового русского возрождения. Если в XIX столетии все внимание было обращено в одну сторону – на русскую общественность и государственность, – то лишь в XX веке положено начало пониманию русского зодчества, русской живописи, русской философии, русской музыки и русской поэзии. У нас еще не было времени дойти до таких сложных явлений нашей жизни, как явление Аполлона Григорьева. Зато теперь, когда твердыни костности и партийности начинают шататься под неустанным напором сил и событий, имеющих всемирный смысл, – приходится уделить внимание явлениям, не только стоящим под знаком «правости» и «левости»; на очереди – явления более сложные, соединения, труднее разложимые, люди, личная судьба которых связана не с одними «славными постами», но и с «подземным ходом гад» и «прозябаньем дольней лозы». В судьбе Григорьева, сколь она ни «человечна» (в дурном смысле слова), все-таки вздрагивают отсветы Мировой Души; душа Григорьева связана с «глубинами», хоть и не столь прочно и не столь очевидно, как душа Достоевского и душа Владимира Со-

Ловьева.

Убитый Грибоедов, убитый Пушкин. Точно знак того, что рано еще было тогда воздвигать здание, фундамент которого был заложен и сразу же засыпан, запорошен мусором. Грибоедов и Пушкин заложили твердое основание зданию истинного просвещения. Они погибли. На смену явилось шумное поколение сороковых годов во главе с В. Белинским, «белым генералом русской интеллигенции». Наследие Грибоедова и Пушкина, Державина и Гоголя было опечатано; Россия «петровская» и «допетровская» помечена известным штампом. Белинский, служака исправный, торопливо клеймил своим штампом все, что являлось на свет божий. Весьма торопливо был припечатан и Аполлон Григорьев, юношеский голос которого прозвучал впервые через шесть лет после смерти Пушкина. Оценка деятельности Белинского и его соратников еще впереди; меня она занимает лишь по отношению к Григорьеву; отмечу только, что русское возрождение успело расшатать некоторые догматы интеллигентской религии, и Белинский уже не всем кажется лицом

неприкосновенным.

Худо ли, хорошо ли и по причинам, все равно каким, Григорьев был припечатан и, следовательно, не попал в интеллигентский «лубок»; в тот лубок, где Белинский занимает место «белого генерала». Поглумились над Григорьевым в свое время и Добролюбов, и Чернышевский, и их присные. Как при жизни, так и после смерти Григорьева о глубоких и серьезных его мыслях рассуждали всё больше с точки зрения «славянофильства» и «западничества», «консерватизма» и «либерализма», «правости» и «левости». В двух соснах и блуждали до конца века; а как эти мерилы к Григорьеву неприложимы, понимание его и не подвигалось вперед. В конце столетия, когда обозначилось новое веяние, Григорьева стали помаленьку распечатывать. Долгое время почтенные критики находили его «странным» (другого слова многие из них – увы! – до сих пор не могут придумать). Он

*...странен? – А не странен кто ж?  
Тот, кто на всех глупцов похож!*

Все-таки в григорьевской душе копались.

Ив. Иванов на сотне страниц ругался; А. Во-  
лынский, со свойственной ему «импрессио-  
нистской смелостью», набросал портрет.

Наконец, в самое последнее время стали появляться довольно конфузные (для преды-  
дущих критиков) статьи. В одной из них [1]  
говорится о том, что Григорьев «во многом  
повторял приемы Гете и Шеллинга, Карлейля  
и Эмерсона, Ренана и Гюго, предвосхитил  
Бергсона и Зиммеля, и потому в русской кри-  
тике первенство его вне всякого сомнения».  
Не знаю, много ли это для русского мыслите-  
ля – «предвосхитить Бергсона и Зиммеля»;  
только в устах автора статьи это – большая  
похвала.

Судьба Григорьева сложна и потому – со-  
блазнительна. В интеллигентский лубок он  
никогда не попадет: слишком своеобразен;  
в жизни его трудно выискать черты интелли-  
гентских «житий»; «пострадал» он, но не от  
«правительства» (невзирая на все свое свобо-  
долюбие), а от себя самого; за границу бегал –  
тоже по собственной воле; терпел голод и ли-  
шения, но не за «идеи» (в кавычках); умер,  
как все, но не «оттого, что был честен» (в ка-

вычках); был, наконец, и «критиком», но при этом сам обладал даром художественного творчества и понимания; и решительно никогда не склонялся к тому, что «сапоги выше Шекспира», как это принято делать (прямо или косвенно) в русской критике от Белинского и Чернышевского до Михайловского и... Мережковского.

Вместе с тем Григорьеву трудно попасть и в настоящие «святцы» русской словесности: был он все-таки в высшей степени «человеком сороковых годов». Конечно, не «урожденный критик» (если такие вообще водятся на свете), как полагал друг его Н. Н. Страхов; не «критик», потому что художник; однако строил он пространно, языком небрежным и громоздким, в статьях же иногда и водянистым, даже более водянистым, чем язык Белинского. – Григорьева одолевали настоящие бесы, но был он мало «стихиен», слишком «человек»; не часто владел им тот бог, присутствие которого дает борьбе с бесами единственный и великий смысл. Вообще несчастья осыпали Григорьева; но ни одно из них не выросло до размеров божественной кары.

Черты *призвания* («проклятья иль избранья») сквозят в облике Григорьева. Есть постоянное какое-то бледное мерцание за его жизнью; но оно пропадает, всегда тонет в подробностях жизни. Словно так много дыма и чада, что лишь на минуту вырвется пламенный язык; прозрение здесь, близко, мы уже готовы причислить его лик к ликам Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Соловьева. Тут бурые клубы дыма опять занавешивают пламень.

Вглядимся ближе в эту необщую судьбу.

[2] В двадцатых годах за Москвой-рекой, в переулке у Спаса на Наливках, стоял деревянный дом с постоянно закрытыми воротами и калиткою на задвижке. В нижнем этаже, над каменным подвалом, в венке из комнат, расположенных вокруг печей, жили супруги Григорьевы, Александр Иванович и Татьяна Андреевна. Александр Иванович был человек умный и беспечный; в былые времена бывал он во хмелю столь «бешен и неистов», что теперь пуще всего боялся «буйства». От отца своего, который пришел с севера в Москву мужиком, лбом и горбом пробил себе дорогу и скончался в довольстве и в дворянском звании, – Александр Иванович «кряжистости» не унаследовал. Домом правила мать.

Татьяна Андреевна была из крепостных, кучерова дочка, темная, упрямая, добрая, с лицом нежным, петь хорошо умела. Запершись у себя, она читала романы громким шепотом и по складам, а при гостях воздерживалась от всякого рода суждений. В то время она

болела какой-то странной болезнью: глаза в припадке становились мутными, нежное лицо покрывалось желтыми пятнами, на губах появлялась зловещая улыбка. В такие минуты Татьяна Андреевна, расчесывая гребнем волосы сына, пилила его без всякой справедливости.

Узкая и крутая лестница вела в мезонин; с этой лестницы когда-то упившийся дядька-француз сверзился и убился до смерти: «снизшел в преисподняя земли», как говаривал Александр Иванович. В мезонине и жил единственный сынок Григорьевых – Полошенька, или Полонушка, «образец скромности и сдержанности», с профилем Шиллера, с голубыми глазами и тонко разлитой по всему лицу восторженностью или меланхолией. Прекрасно играя на рояле, Полошенька звуками его занимал гостей и будил родителей от утреннего сна. Мать держала его на привязи, не пускала из дому после девяти часов вечера; у ворот всегда дожидались его пошевни.

Эта «упрямо-старая жизнь» протекала в некотором изобилии: по должности своей Александр Иванович получал даром из Охот-

ного ряда припасы к рыбному и мясному столу; также и корм для коровы и лошади.

Полошенька, хоть и ходил по субботам подставлять головку под маменькин гребень (вплоть до окончания университетского курса), жил за глазами у родителей своей, и вовсе не такой «упрямо-старой» жизнью. Натура у него была «безобразно-нервная». По ночам боялся; рано проснулись плотские помыслы; рано узнал от дворни все тонкости крепкой русской речи. С дворовыми жил близко, и его любила по-своему эта «безобразная, распущенная, своекорыстная дворня».

Читал он много и без пути. Много снов снилось. Стены старого Кремля говорили с ним «внятно, ласково», от них обвевало его «что-то растительное». Он чувствовал родство с душою своего кряжистого деда, который был начетчиком (от него дошла библиотека), с архиереями спорил, с Новиковым был знаком и чуть ли не был масоном. Дед являлся Полошеньке во сне; по ночам Аполлон ждал его на улице.

Полчище бесов, которых всячески питали и холили темные родители, да и сам Аполлон,

и в душе своей и в дому, стало полчищем несметным, когда подошел конец тридцатых годов, когда «страшный соблазн» стал носиться в «воздухе, звучавшем страстно-сладкими строфами Пушкина» и пронизанном «вихрями юной французской словесности», когда Аполлон поступил в университет и когда рядом с ним, в мезонине, поселился университетский приятель его – Афоня Фет.

«Разрушенное прошедшее позади, впереди зоря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто, подобное океану... Что-то неопределенное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушением» [3] . «Поколение подраставшее, надышавшись отравленным этими ощущениями воздухом, жадно хотело жизни, страстей, борьбы и страданий».

А вместо того – «тоскливая пустота жизни»; душные зимние вечера в жарко натопленной комнате, где «не темно и не светло», где в окно глядится все та же плакучая береза, увешанная инеем; та самая, о которой сказал Фет:

*Печальная береза*

## *У моего окна.*

Фет, которому родители вполне доверили Аполлона, был настоящим демоном-искусителем. Этот мудрец с мальчишества, мужественный и умелый в житейских делах, с железною волей – был полною противоположностью неумелому и нелепому Аполлону. Стихи Аполлона он критиковал строго и больно выкручивал ему руки за спину, так что тот не мог пошевелинуться; но Аполлон обожал его; тут явились и гитара, и табак, и просвещение насчет цыган, и стихи; тут-то, сквозь гегелевский чад и шеллинговский хмель, зазвучал тот «адский вальс» из «Роберта-Дьявола», от которого Аполлон сотряслся.

Однажды у всенощной коленопреклоненный и кладущий земные поклоны Аполлон услышал над ухом шопот Фета, который пробрался незаметно в церковь, встал рядом на колени и нашептывал слова Мефистофеля своей Маргарите – Аполлону.

И вот овладела Григорьевым торопливость. От отчаянного атеизма бросался он в крайний аскетизм; молился перед иконой, налепляя на все пальцы зажженные воско-

вые свечи. Ум его «скакал по оврагам и безднам, сердце жило книжной, фантастической жизнью». Попробовал служить, но ничего не вышло (как не выходило и впоследствии – всю жизнь). Он бредил о том, что может поступить в масонскую ложу, здоровался, берясь за кисть руки особенно, по-масонски; все шатания заключились тем, что в один прекрасный день, – без ведома родителей и с благословения Фета, Григорьев бежал в Петербург. Последним побуждением к бегству была, как полагают, несчастная любовь.

Любовь, тяжелая и непростая, обрушилась на ребенка, заслонила всю его детскую память и залегла на всю жизнь в сердце Григорьева, стала тяжким бременем и единственной усладой.

Прочной связью с Москвой связал Григорьева университетский наставник его и покровитель, Михаил Петрович Погодин. По-видимому, долго был он для Григорьева грозой и острасткой и был у него зоркий отеческий глаз.

Около времени бегства Григорьева в Петербург Погодин записал у себя в дневнике:

«Были Григорьев и Фет. В ужасной пустоте  
вращаются молодые люди. Отчаянное безве-  
рие» [4] .

Совсем юношей, двадцати одного года, приехал Григорьев в Петербург. Город кинулся ему навстречу всеми своими страшными престелестями.

«...Волею судеб, или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни, я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная *петербургская* литература... В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние – но, с другой стороны, я узнал, с его запахом довольно тусклым и цветом довольно грязным... странно-пошлый мир» [5].

В другом месте [6] Григорьев сравнивает два мира – московский и петербургский (недаром была мода на такие сравнения и в пушкинские и в гоголевские времена; мода, и до наших дней дошедшая):

«Если вы бездомник, если вы варяг в этом

славянском мире, если вы не имеете части в семейном самоваре, зачем, за что и почему обоймет вас хандра неодолимая, зачем, как Репетилов, готовы вы сказать своему кучеру: вези меня куда-нибудь... Благо вам, бездомному и беспокойному варягу, если у вас есть две, три, четыре сотни рублей, которые вы можете кинуть задаром, – о! тогда, уверяю вас чстью порядочного зеваки, – вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких, странных, томительно-странных песен, и пусть отяготело на вас самое полное разочарование, я готов прозакладывать свою голову, если вас не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет томить вашу душу странною песнию или когда бешеный, неистовый хор подхватит последние звуки чистого, звонкого, серебряного Стешина: „Ах? ты слышишь ли, разумеешь ли?..“

Иная, совсем иная ночь в городе, который называют головою России... Вы отобедали (обыкновенно очень плохо); вас, разумеется, тоже выгнало что-то из дому, но это что-то – не хандра русского человека, не бесконечная да жизни, не беспредметная любовь – нет,

просто пошлая, бесстрастная скука; просто врожденное во всяком истом петербурге отращивание от домашнего очага...»

Вот и еще один отрывок, который покажет нам в Григорьеве «нашего современника», как назвал его В. Княжнин [7] :

«...В ожидании благосклонного внимания читателя пройдем по Петербургу неофициальным образом. В тех географиях, где города очень удачно обозначаются одним эпитетом, как, например: Париж – город великолепный, Лондон – обширный, Вена – промышленный, Мадрид – красивый, Москва – древний, Петербург назван *регулярным*. Не правда ли, как по одному прилагательному вы тотчас узнали существенное отличие одной столицы от другой и никогда не смешаете Парижа с Веной и Москвы с Лондоном? И сам Петербург – как удачно он определен одним словом. Разве не главная черта его та, что он регулярен? Разве есть что-нибудь на свете важнее регулярности? Взгляните, в какую удивительную линию вытянуты все улицы его! Как геометрически равны очертания его площадей и плац-парадов! Если где-нибудь в заневских сторо-

нах дома и погнулись немножко набок, то все-таки погнулись чрезвычайно регулярно...

Что касается собственно до домов в Петербурге, то многого об них сказать нельзя. Если иногда какой-нибудь эксцентрик окрашивает их замысловатую краскою светлоло-сосиноного или гнедо-розового цвета, то это где-нибудь на Песках или в отдаленных линиях Петербургской стороны. Большею частью дома здесь скромные, чинные, степенные. Они не разъезжаются, как придется, не раскидываются, как им заблагорассудится, потому что за этим смотрит правительство...» [8]

Кто писал это? – Точно Андрей Белый, автор романа «Петербург»; но Андрей Белый, вероятно, не знает ничего о существовании «зеваки» сороковых годов. Очевидно, Петербург «Медного всадника» и «Пиковой дамы», «Шинели» и «Носа», «Двойника» и «Преступления и наказания» – все тот же, который внушил вышеупомянутые заметки – некоему зевাকে и сумбурный роман с отпечатком гениальности – Андрею Белому. Не странно ли все-таки, что об одном и том же думали русские люди двадцатых, тридцатых, сороковых... девяно-

стых годов и первого десятилетия нашего века?

В таком-то чаром и страшном образе явился Петербург и Аполлону Григорьеву, буйному, благородному и страждущему юноше с душою Дмитрия Карамазова. Здесь-то «приснились» этой душе многообразные «миры», и вихревые сны окончательно расшатали вечно мающуюся между «восторгами» и «хандрой» душу.

Григорьев под влиянием какой-то «сильной и таинственной личности» (Петрашевского?); Григорьев в Александринке, в первых рядах, в красной рубашке и плисовой поддевке; Григорьев на скамеечке у ног «полной и красивой блондинки», которой он декламирует монологи Гамлета, называя ее Офелией [9]; Григорьев в угаре каторжной журнальной работы для хлеба и... для вина (трудно сказать, для чего больше); вот каким мы видим теперь «скромного» юношу Аполлона.

Скука, восторги; гитара, цыгане; «умственные сатурналии» [10] шеллингианства, где разом грезится: новый мир «органической критики», призрак будущего великого здания, ко-

торое так и не было достроено; и ласковый хаос природы, «качанье старых тополей», «сырые ночи Полюстрова» [11] ; и вплотную подступающая «радость», мир «Гимнов» к Розе и к Мудрости, никем не понятых вплоть до наших дней.

Аза всем этим – «болезненный», нежный, дразнящий несбыточным призраком первой любви. «Факт, и факт неоспоримый, то, что XIX век питает любовь к болезненности, что мы все, чада его, всасываем с кровью склонность... страдания, что в каждом из нас какой-то голос зовет, как в некоторых общинах, – Mitternacht, Erwurdigster-tiefe Mitternacht [12] , ибо свет есть не что иное, как сознание окружающей нас тьмы. Знаю очень хорошо, что, высказывая такое определение, я подвергаю себя позорному названию романтика... *Расставанье в безмолвном и гордом страданье*, конечно, вещь удивительно смешная для всякого, кто созерцает человеческие страсти из своего кабинета... но тем не менее оно – вещь обыкновенная в наше время» [13] .

Все описанное кажется слишком противо-

речивым и несовместимым. Такого рода душевное богатство, естественно, стало казаться литераторам неприличным беспорядком, и Григорьева стали пощипывать. От юности недоступный для литературного понимания, Григорьев мог бы и теперь быть назван «непонятым и одиноким». Так вообще называть его любят, но надо ли прибедниваться? Какой он «одинокий», когда в нем сидит целый легион?

Григорьев петербургского периода – в сущности лишь прозвище целой несогласной компании: мечтательный романтик, начитавшийся немецкой философии; бедный и робкий мальчик, не сумевший понравиться женщине; журнальный писака, весьма небрежно обращающийся с русским языком, – сродни будущему «нигилисту», «интеллигенту»; человек русский, втайне набожный (ибо грешный), пребывающий в постоянном трепете перед грозой воспитателя своего, М. П. Погодина [14] ; пьяница и безобразник, которому море по колено; и, наконец, мудрец, поющий гимны Розе и Радости.

Вот такая это была компания.

Первенства в ней пока еще не брал никто, все только приглядывались друг к дружке; зато грешная плоть и дух А. А. Григорьева начинали сильно пошатываться. Много помогали этому и внешние обстоятельства: рецензентская травля и бедность; какой-то журнальный приятель [15] пишет уже в 1846 году «ободрение» Григорьеву – в стихах; знак недобрый.

Кончилось тем, что, после многих хлопот, Григорьев был увезен в Москву и временно вырван из бездны умственного и нравственного опьянения.

Наступила сравнительно спокойная полоса жизни. Это не замедлило сказаться: обилие «прозы» в ущерб стихам. По приезде в Москву Григорьев женился, но «остепенился» весьма не надолго [16].

После нескольких лет черной работы в поте лица пришла пора, о которой Григорьев всегда вспоминал впоследствии как о «второй и настоящей молодости», о «пяти годах новой жизненной школы» [17]. Работал, бедствовал и пил он не меньше; его одолевали «кредиторы-ракалии» и «адская скупость» Погодина; а «масленица» имела на него влияние «как на всякого русского человека»; и обид было не меньше; но, очевидно, от новых людей, с которыми Григорьев связался, пахло теплом и благородством. В то время Григорьев писал прозой больше чем когда-нибудь, и тогда-то все главные его идеи нашли себе выражение и поддержку.

О том, как установились отношения Григорьева с редакцией «Москвитянина», «помолодевшей» от его присутствия, сохранился лю-

бопытный рассказ.

В 1851 году Аполлон Александрович встретился с Тertiем Ивановичем Филипповым. Филиппов и ввел его в редакцию «Москвитянина». Однажды был у Островского большой литературный вечер; присутствовали представители всех лагерей. Когда большая часть гостей разошлась, Филиппов, по просьбе оставшихся, одушевленно спел русскую песню. После пения Григорьев упал на колени и просил кружок «усвоить» его себе, так как здесь он видит правду, которую искал и не находил в других местах, и потому был бы счастлив, если бы ему позволили здесь «бросить якорь». – При этом присутствовавший Михаил Петрович Погодин так аттестовал своего давнего воспитанника: «Господин Григорьев – золотой сотрудник, борзописец, много хорошего везде скажет он, и с чувством, но не знает, ни где ему в....., ни где молитву прочесть. Первое исполнит он всегда в переднем углу, а второе – под лестницею» [18].

Бросив якорь среди «пьяного, но честного кружка», Григорьев решил дать генеральное сражение легиону тех бесов, которые его бо-

роли. *Борьба, борьба* – твердит Григорьев во всех своих стихах, употребляя слово как символическое, придавая ему множество смыслов; в этой *борьбе* и надо искать ключа ко всем суждениям и построениям Григорьева – мыслителя, который никогда не был дилетантствующим критиканом; то есть не «бичевал» никогда «темных царств», а *боролся* с ними; он понимал, что смысл слова «темное царство» – глубок, а не поверхностен (смысл не бытовой, не гражданский только). «Темное царство» широко раскинулось в собственной душе Григорьева; борьба с темною силой была для него, как для всякого художника (не дилетанта), – борьбою с самим собой.

Вот откуда ведет свое начало теория о двух стихиях нашей жизни: *хищной, варяжской, и смирной, славянской*. Отсюда же признание, что «Пушкин – наше все», и более всего – через «смирного» Белкина. Белкин есть «первое выражение критической стороны нашей души, очнувшейся от сна, в котором грезились ей различные миры», «первая проба самостоятельной жизни».

Отсюда же – война с Байроном и Лермонто-

вым: «байронизм» истощился в Лермонтове, ибо дальнейшее отношение к нему самого Лермонтова было бы непременно *комическое* (Печорин уже «одной ногой в области комического»). «В Байроне очевидна... не безнравственность, а отсутствие нравственного идеала, протест против неправды без сознания правды. Байрон – поэт отчаяния и сатанинского смеха потому только, что не имеет нравственного полномочия быть поэтом честного смеха, *комиком*, – ибо комизм есть правое отношение к неправде жизни во имя идеала, на прочных основах покоящегося... Если же идеалы подорваны и между тем душа не в силах помириться с неправдою жизни по своей высшей поэтической природе... то единственным выходом для музы поэта будет беспощадно ироническая казнь, обращающаяся и на самого себя, поколику в его собственную натуру въелась эта неправда... и поколику он сам, как поэт, сознает это искренней и глубже других» [19].

Все в той же *борьбе* надо искать и причину слабости некоторых суждений Григорьева: сюда относится выходка против Достоевского

и слишком робкое заступничество за Фета. Чрезмерно, надо полагать, был близок сам Григорьев к разным «двойникам», к «господину Голядкину», и потому не различил за ними будущих Карамазовых. Что же касается Фета...

Есть на свете положения, которые говорят сами за себя. Вот одно из таковых: журнальная свора рвется с цепи, не находя слов для оскорбления поэзии Фета; А. А. Григорьев многословно колесит вокруг Гейне, рассыпая перед кем то бисер своей любви к Фету и стараясь объяснить (кому?) его «болезненные» стихи; а в это время сам автор «болезненных стихов», спокойный и мудрый Афанасий Афанасиевич, офицер кирасирского полка, помышляет лишь об одном: как ему взять лошадь в шенкеля и осадить ее на должном расстоянии перед государем.

Это страшно интересно, внутренне значительно, как пример действия воли на расстоянии; «демон-искуситель», с детства порабоцавший душу мечтательного Аполлона, и тут как бы заставляет его «истекать словами» бледными и малозначительными: «не мечи

жемчуга перед свиньями, не заступайся за то, что в заступничестве не нуждается». Теперь только, когда Фет причислен всеми к нашим великим поэтам [20], очевидна ненужность многословных объяснений Григорьева. Думаю, что положение, в которое он попал, само по себе казнь, гораздо худшая, чем преследование «слева» и «справа» (Дудышкин и Булгарин). Людей не совсем обычных постигают и казни не совсем обычные.

В «борьбе» же – источник стремления Григорьева говорить наукообразное, вводить в литературную критику терминологию естественных наук («допотопные» явления литературы; «растительный мир» народной поэзии). Мыслитель стремится заковаться в броню науки, как позже поэт стремился сдерживать свои растекающиеся образы строгой формой сонета. Напрасно!

И наконец, из той же «борьбы» возникла и встала в душе Григорьева рядом с первой несчастной любовью – вторая несчастная любовь: любовь к родине, к «почве». Так бывает в середине жизни. В народных песнях, в Гоголе, в Островском открылось ему то «безотчет-

ное неодолимое, что тянет каждого человека к земле его» [21] . За резкие слова об этой любви, всеми и всегда гонимой у нас, Григорьеву досталось довольно и в то время и в наше. Бог судья тем людям, которые усмотрели опасный «национализм» (так, что ли?) в наивных стихах («Рашель и правда») или в страстных словах, подслушанных, например, Григоровичем («Шекспир настолько великий гений, что может стать уже по плечо русскому человеку») [22] .

Так как любовь Григорьева была, как все его любви, бескорыстна и страстна, то он и не взял от нее ничего, кроме новой обиды и нового горя.

Так развернулась борьба. Казалось, что генеральное сражение близится к счастливому исходу; голос Григорьева крепнет, здание, им воздвигаемое, растет. Критическая ругань стояла кругом великая, «до пены у рта» (Булгарин, западники) [23] . Может быть, близилась и *власть*? Власть побольше власти Белинского?

Однако, взглядываясь в эту среднюю, «лучшую», москвитяниновскую полосу жизни

Григорьева, мы чувствуем какую-то пустоту. Завелась пустота, зовущий голос, который был слышен прежде близко, зазвучал тише. Уж очень много было рассуждений, даже просто «критики».

Сам ли Григорьев почуял это или «подтачивающий червь» [24], который в нем жил, шевельнулся, – только в самую напряженную минуту [25] Григорьев все оборвал и бежал «от дружб святых и сходок безобразных», чтобы погрузиться в новые сны [26].

За границей Григорьев сразу повел себя по-русски: «истерически хохотал над пошлостью и мизерней Берлина и немцев вообще, над их аффектированной наивностью и наивной аффектацией, честной глупостью и глупой честностью, плакал на пражском мосту, в виду пражского кремля, бранил Вену и австрийцев, подвергая себя опасности быть слышимым их шпионами, и наконец окончательно одурел в Венеции».

Здесь «смягчился только фанатизм веры в народное, но сама вера не сломилась» [27]. Григорьев больше думал, чем писал. Со всею неумолимостью встала перед ним безнадеж-

ность в личной жизни и безнадежность любви к «проклятой и вместе милой родине». О том и о другом лучше всего скажут отрывки из собственных писем Григорьева [28].

К Е. С. Протопоповой из Венеции – от 1 сентября 1857 года:

«Что ждет меня (в России)? Все то же – тоска, добывание насущного хлеба, пьянство людей, к которым я горячо привязан, безнадежная, хотя и чистая борьба с хамством в литературе и жизни, хамская полемика и Ваша дружба, то есть право терзать Вас анализом, пугать донкихотством и удивлять цинизмом и безобразием».

К ней же, из Флоренции, 24 ноября:

«Здесь я все изучаю искусство, – да что проку-то? В себя-то, в будущую деятельность-то, во всякое почти значение личной жизни утратил я веру всякую. Все во мне как-то расподлым образом переломано... Нет! глубокие страсти для души хуже всякой чумы, – ничего после них не остается, кроме горечи их собственного осадка, кроме вечного яда воспоминаний».

Женским душам, должно быть, легче это

достаётся. Ведь любила же она меня, то есть знала, что только я ее всю понимаю, что только я ей всей молюсь...

Каких подлостей не позволял я себе в отношении к женщинам, как будто вымещал им всем за проклятую пуританскую или кальвинистскую чистоту одной...»

К М. П. Погодину, из Флоренции, 8 ноября:

«Читали ли вы в „Норде“ один фельетончик из Петербурга, *срамный* фельетончик, где мы хотим показать, что и мы, дескать, европейцы и у нас есть блудницы, скандальные истории, *demi-monde*... [29] Это ужасно. Не знаю, произвел ли он в вас то же чувство негодования... Ведь это голос из России, это – *les prémices* [30] нашей свободы слова... Бедный, обманутый, самолюбием ли, безумным ли увлечением, Герцен. Неужели один подобный фельетон не наведет его на мысль... что уж лучше старообрядчество, чем подобная пакость моральной распущенности!

...Во всех подобных случаях для меня со всею неумолимостью поставляется вопрос: что противнее душе моей, ее правде: подобный ли фельетончик или православие бла-

женной памяти „Маяка“? А все, все и в душе и обстоятельствах этих нудит дать себе наконец последний, удовлетворяющий и порешающий ответ...»

К Е. С. Протопоповой, 3 января 1858 года:

«Все так неумолимо-окончательно порешил ось для меня в душевных вопросах, так последовательно обнажилось до желтых и сухих костей скелета – так суровы стали мои верования, так бесповоротны и безнадежны мои ненависти, – что дышать тяжело, как в разреженном и резком воздухе гор».

К М. П. Погодину, 7 марта:

«Принцип народностей неотделим от принципа художественного, и это точно наш символ, только *допотопный*. В этом символе – новость, свежесть жизни, вражда к *теории*, к той самой теории, которая есть результат жизненного истощения в том мире, в который судьба меня бросила. *Теория* и *жизнь* вот Запад и Восток в настоящую минуту. Запад дошел до мысли, что человечество существует само для себя, для своего счастья, стало быть должно *определиться* теоретически, успокоиться в конечной цели, в возможно

полном пользовании. Восток внутренне носит в себе живую мысль, что человечество существует в *свидетельство* неистощенных еще и неистощимых чудес Великого Художника, наслаждаться призвано светом и *тенями* Его картин; отсюда и грань. Запад дошел до отвлеченного лица – человечества. Восток верует только в душу *живу* и не признает *развития* этой души... Но я увлекся своим созерцанием и начал с жалоб.

*Лиси язвины имут, и птицы гнезда; Сын же Человеческий не имать где главы подклони́ти.* Так и наши воззрения, или, лучше сказать, наше внутреннее чувство... Никто не знает и знать не хочет, что в нем-то, то есть *Православии* (понимая под сим *равно* Православие отца Парфения и Иннокентия – и исключая из него только Бецкого и Андрюшку Муравьева), заключается истинный демократизм, то есть не *rehabilitation de la chair* [31], а торжество души, *душевного* начала. Никто этого не знает, всякого от православия „претит“, ибо для всех оно слилось с ужасными вещами, – а мы, его носители и жрецы, – пьяные вакханки, совершающие культ тревожный, лихорадочный новому, неведомому богу. Так вакханками и околеем. Это горестно, но правда... Горестней же всего то, что этого ничего нельзя говорить, ибо, заговоривши, примыкаешь к официальным опекунам и попечителям Православия или подвергаешься нареканию в „брынской вере“.

Увы! *Новое* идет в жизнь, но мы – его жертвы. Жертвы, не имеющие утешения даже в признании. Жертвы Герцена – оценю даже я,

православный, а наших жертв никто не признает: слепые стихии, мы даже и заслуги-то не имеем. Вот почему наше дело пропащее [32].

А своекорыстие одних из нас и полная распущенность других (к числу последних принадлежу я сам!). Меня, например, лично – никакие усилия человеческие не могут ни спасти, ни исправить. Для меня нет опытов – я впадаю вечно в стихийные стремления... Ничего так не жажду я, как смерти... Ни из меня, ни из нас вообще – ничего не выйдет и выйти не может, – да и время теперь не такое. Мы люди такого далекого будущего, которое купится еще долгим, долгим процессом. Околем мы бесславно, без битвы, – а между тем мы одни видим смутную настоящую цель. Не эти же *первые люди*, исчисляемые кумом *Современником*... Сам глава их, хоть и великий человек, – в сущности, борется за то, что плевка не стоит, за то, во что сам не верит».

К. Е. С. Протопоповой, 19 марта:

«Ужасную эпоху переживаем мы вообще. Поневоле принимаешь опиум, когда вопросы жизни становятся перед сознанием во всей

их беспощадной последовательности.

Мир и счастье не нам. Чудеса же замолкли, пора к этой мысли привыкнуть... или, если хотите, чудеса совершаются только во внутреннем мире души, все более и более отрывая ее от пристрастия к чему бы то ни было земному, преходящему».

Собственно говоря, от всех этих признаний тридцатилетнего человека, которому «трудно дышать» и для которого «замолкли чудеса», веет уже тленом. Григорьев все еще, несмотря на всю свою напряженность, «не может изжиться», в нем сидит «тысяча жизненных бесов». Еще, «как вода рыбе, необходимо ему сильно страстное отношение к женщине»; еще мучит его «неистовый темперамент»; он молит Венеру Милосскую в Лувре («чрезвычайно искренне, особенно после пьяной ночи») «послать ему женщину, которая была бы жрицей, а не торговкой сладострастия».

И Венера послала ему женщину.

И что же? – Нет уже веры в себя, «в торжество своей мысли». «Да и чорт ее знает теперь, эту мысль. По крайней мере я сам не

знаю ее пределов. Знаю себя только отрицательно».

И, что, пожалуй, страшнее всего, уже тянет его что-то холостяцкое: «комфорт в чаю и в табаке (то есть если слушать во всем глубоко-чтимого... отца Парфения, в самом-то дьявольском наваждении)».

Григорьев, по дурной интеллигентской привычке, все иронизирует, все подсмеивается; а все-таки к отцу Парфению прислушивается. Правду, правду говорит отец Парфений.

В таком-то неустойчивом равновесии вернулся блудный погодинский сын – только не в Москву, а в Петербург, и прямо угодил в белые ночи. Как бывает с людьми, которые долго жили в «иных мирах», наедине с собою, он потерял последнюю «приспособляемость», если и обладал когда-нибудь таковою.

Как раз в это время кое-кто почему-то возважал его, кто-то «готовился выдать патент на обер-критика». Однако «билет» этот Григорьев вскорости «почтительно возвратил».

Теперь, в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов, Григорьев, которому уже решительно нечего терять, представляет из

себя впервые цельную и весьма внушительную фигуру. Открытое лицо со старорусским пошибом; манера говорить «с жаргоном московского литератора сороковых годов»; голос «здоровенный» – когда говорит, «гибкий и задушевный» – когда поет; вот он потчует чаем заезжего Фета; в красной шелковой рубашке, подыгрывает себе на гитаре, перебирая струны маленькой и нежной, как у женщины, рукой (всегда, должно быть, грязной) [33] .

Пьянство идет уже безудержное, так сказать привычное. Пьют, за неимением водки, чистый спирт, одеколон и керосин. В пьяном виде Григорьева одолевает «безудерж». В нем – «своя душевная Макарьевская ярмарка». То из театра выведут (за неуместное подсказыванье роли одному певцу, громовым голосом, на весь зал); то найдет его В. С. Серова валяющимся на ее диване, «уткнувшись в подушку и издающим невозможнейшие звуки со свистом и шипением»; то Боборыкин застанет его спящим на бильярде в клубе.

Приходя в неожиданный восторг, положим, от «Юдифи» Серова, Григорьев начинает ораторь:

«Ведь он, шельма, прегениальнейшая бестия, этот Сашка! чорт его дери! Как это у него запоет Юдифь: „Я оденусь в виссон“, то я готов сапоги ему лизать. Сколько раз я приходил к нему в то время, когда он сочинял своих безутешных жидов, я прямо бац ему в ноги... не могу! больно хорошо! гениальнейшая башка у него, у Сашки!» Или: «Пиши, Сашка, народную оперу, у тебя хватит на это таланта; народное, „свое“ более живучее, чем все иностранное. Ведь и греки свое, народное писали, и чем больше в их искусстве своего, греческого, тем оно дороже. А что у нашего народа красоты нет, это пустяки! Это зависит от художника. Ну-ка, с легкой руки валяй, Сашка!»

А потом опять нападет «путаница душевная», чувство полной собственной «ненужности», *хандра*.

Пропивая все, Григорьев садился в долгое отделение, в так называемую «тарасовскую кутузку»; туда брал он с собой гитару и журнальную работу; утихомиривался и довольно аккуратно писал; а как случалось это неоднократно, в тарасовском доме Григорьева даже знали и уважали.

Впрочем, журнальная работа уже шла туго. В один прекрасный день Григорьев, как это и прежде случалось с ним, сбежал из Петербурга. Причиной тому была будто бы «ссора» с Достоевским и желание поправить денежные дела службою в Оренбурге. Негласной-то причиной был все тот же «подтачивающий червь».

С той поры Григорьев еще не однажды пробовал начинать сызнова и жизнь и работу; но, в сущности, сбежав в Оренбург, он «закатился». Возврата к жизни ему уже не могло быть.

Когда говорят, что пьют «с горя» или для того, чтобы «заглушить совесть» и «найти забвенье», – это правдиво, но не совсем. Когда говорят, что «вымещают на женщинах чистоту одной», это тоже не совсем правдиво. Можно все это рассказывать приятелям, а особенно приятельницам, в письмах; но наступает рано или поздно час, когда ничто уже не обманывает и всякое исповедальное кокетство перестает быть нужным.

Такой час и наступил теперь для Григорьева: человек он был прежде всего правдивый. Жизнь положительно выпирала его из себя. Попробовал было служить и даже читать публичные лекции, но в конце концов «до того опустился, что, если у него не было на что выпить, спокойно являлся в чей-нибудь знакомый дом, без церемонии требовал водки и напивался до положения риз... ходил в старом сюртуке, грязный, оборванный, с длинными нечесаными волосами, и имел самый непривлекательный вид» [34].

В письмах 1861 года из Оренбурга к

Н. Н. Страхову, с которым незадолго до того познакомился Григорьев, в последний раз слышим мы страстные и сильные жалобы на жизнь [35].

«Пока не пройдут Добролюбовы [36], честному и уважающему свою мысль писателю нельзя обязательно литераторствовать, потому что негде, потому что повсюду гонят истину, а обличать тушинцев [37] совершенно бесполезно. Лично им это как к стене горох, а публика тоже вся на их стороне.

Гласность, свобода – все это, в сущности, для меня слова, слова, бьющие только слух, слова вздорные, бессодержательные. Гласность „Искры“, свобода „Русского вестника“ или теоретиков [38] – неужели в серьезные минуты самоуглубления можно верить в эти штуки?

Самая простая вещь, – что я решительно один, без всякого знамени. Славянофильство также не признало и не признает меня своим – да я и не хотел никогда этого признания... Островский, с которым „все общее“, „подал руку тушинцам“. Погодин – падок на популярность...

Подумай-ка, много ли людей, *серьезно* ищущих правды?

Есть вопрос и глубже и обширнее по своему значению всех наших вопросов – и вопроса (каков цинизм?) о крепостном состоянии и вопроса (о, ужас!) о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной *самостоятельности*.

Не говори мне, что я жду невозможного, такого, чего время не дает и не даст; жизнь есть глубокая ирония во всем; во времена торжества рассудка она вдруг показывает обратную сторону медали и посылает Калиостро; в век паровых машин – вертит столы и приподнимает завесу какого-то таинственного, иронического мира духов, странных, причудливых, насмешливых, даже похабных.

О себе: „во мне есть неумолимые заложения аскетизма и пиетизма, ничем земным не удовлетворяющиеся“. Или: я – старая „никуда не годная кобыла“.

Увы! Как какой-то страшный призрак, мысль о суете суетствий – мысль безотраднейшей книги Экклезиаста – возникает все явственней и резче и неумолимей перед ду-

ШОЮ...»

Нуждаются ли эти отрывки в толковании? – Думаю, что они говорят сами за себя; не говорят, а вопиют; именно теперь – время услышать их, понять, что это – предсмертный крик все той же *борьбы*. Борются не на жизнь, а на смерть интеллигентская скудость и темнота с блесками какого-то высшего, не могущего родиться просветления; обратите внимание на эту скудость воображения:

Калиостро и столоверчение – примеры из «таинственного мира духов»! Как будто не было других примеров рядом, под рукой! Это то же, что «Великий Художник» в письме из-за границы к Погодину, приведенном выше. Григорьев готов произнести имя, он все время – на границе каких-то прозрений; и не может; *темнота* мешает, ложное «просвещение» и детище его – проклятый бесенок *оторопи* – не дают понять простого.

А рядом – какая глубина мысли! Еще немного – и настанет тишина, невозмутимость познания; ожесточение оторопи сменится душевным миром. И близость с самой яркой современностью, с «Опавшими листья-

ми» Розанова. Ведь эти отрывки из писем – те же «опавшие листья».

Вот уже пятьдесят лет, как Григорьев не сотрудничает ни в каких журналах, ни в «прогрессивных», ни в «ретроградных», – по той простой причине, что он умер. Розанов не умер, и ему не могут простить того, что он сотрудничает в каком-то «Новом времени». Надо, чтобы человек умер, чтобы прошло после этого пятьдесят лет. Тогда только «Опавшие листья» увидят свет Божий. Так всегда. А пока – читайте хоть эти листья, полвека тому назад опавшие, пусть хоть в них прочтете о том же, о чем вам и сейчас говорят живые. Живых не слышите, может быть, хоть мертвого послушаете. – Во всем этом есть, должно быть, своя мудрость, своя необходимость.

После Оренбурга, уже совершенно больной душевно и телесно, Григорьев промаячил еще два года в Петербурге. Он еще раз попробовал закинуть собственный якорь [39], но барка его сорвалась с якоря; ее понесло течением. Григорьев уже вовсе не владел силами, которые в нем жили; они правили им, не он ими. Он считал себя бесповоротно погибшим.

Страхов жалуется, что «хлопоты о нем больше не помогают». Действительно, он *погиб*.

В последний раз освободила его из долгового отделения некая, не вполне бескорыстная, генеральша Бибикова [40]. Он будто бы бросился перед нею на колени на набережной Фонтанки. Освобождение, по-видимому, только ускорило гибель. В последние месяцы с Григорьевым происходило что-то «странное» и для друзей «непонятное». «Geh' undbete» [41], – кричал он приятелю, тыча пальцем в пустую стену. Должно быть, он хотел спрятаться: просто почувствовал смерть и ушел с глаз долой, умирать, как уходят собаки.

На похоронах, по словам свидетеля, «курьезных» [42], присутствовал какой-то жалкий журналист – всеобщее посмешище: Лев Камбек. Тот самый, имя которого упоминается в «Бесах» Достоевского [43]. Освистанный либералами за то, что осмелился сказать, что «сапоги ниже Пушкина», Степан Трофимович Верховенский все лепетал под стук вагона:

*Век и Век, и Лев Камбек,  
Лев Камбек, и Век и Век...*

*и черт знает что еще такое...*

После похорон приятели напились.

Вот те скудные воспоминания и письма, рассказы и анекдоты, которые я собрал, стараясь как мог меньше прибавлять от себя; ибо я хотел рассказать правдиво собственно о судьбе этого человека, о внутреннем пути Аполлона Григорьева.

Никакой «иконы», ни настоящей, русской, ни поддельной, «интеллигентской», не выходит. Для того чтобы выписалась икона, нужна легенда. А для того чтобы явилась легенда, нужна власть.

Григорьева называли иногда (метко и неметко) Гамлетом. Не быть принцем московскому мещанину; но были все-таки в Григорьеве гамлетовские черты: он ничего не предал, ничему не изменил; он никого и ничего не увлек за собою, погибая; он отравил только собственную жизнь: «жизнь свою, жизнь свою».

Григорьев много любил – живую, русскою, «растительной» любовью. Страстно любил женщину, с которой ему не суждено было жить. Любил свою родину, и за резкие слова

об этой любви (а есть любовь, о которой можно говорить только режущими, ядовитыми словами) много потерпел от «теоретиков», или «тушинцев»: от людей с побуждениями «интернациональными», «идейными» – мертвыми. Он любил страстно и самую жизнь, ту «насмешливую», которая была с ним без меры сурова, но и милостива, ибо награждала его не одною «хандрой», но и «восторгами».

Григорьев был грешен и страстен. В припадках умоисступления простирался он на колени; простирался – уввы! – всегда, в некотором роде, «под лестницею», по меткому слову его воспитателя; то перед пьяной компанией, то перед луврской Венерой, а то и перед генеральшей на Фонтанке.

Но ведь этот неряха и пьяница, безобразник и гитарист никогда, собственно, и не хотел быть «светлою личностью», не желал казаться «беленьким» и «паинькой». Он не «ставил себе идеалов», к которым полагается «стремиться». Этой человеческой гордыни в нем не было. Оттого и был он, невзирая на все свое буйство, тише воды, ниже травы и в руке Божией. За то же, что был черненьким и по-

рочным, он был лишен не одних только либеральных подачек, а кое-чего, что поважнее.

Он был лишен *власти*.

Какова же была та власть, которой мог обладать, но не обладал Аполлон Григорьев? – Власть «критика»? – Полномочие, данное кучкой людей? – Право надменно судить великих русских художников с точки зрения эстетических канонов немецких профессоров или с точки зрения «прогрессивной политики и общности»? Нет.

Человек, который, через любовь свою, слышал, хотя и смутно, *далекий зов*; который был *действительно* одолеваем бесами; который говорил о каких-то чудесах, хотя бы и «замолкших»; тоска и восторги которого были связаны *не с одною* его маленькой, пьяной, человеческой душой, – этот человек мог бы обладать иной властью.

Он мог бы слышать «гад морских подводный ход и дольней лозы прозябанье». Его голос был бы подобен шуму «грозных сосен Сарова». Он побеждал бы единым манием «косяного перста».

Но разве обладали такую властью и более

могучие, чем он: Достоевский и Толстой? – Нет, не обладали. Григорьев – с ними. Он – единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и Пушкина: шаткий, висящий над страшной пропастью интеллигентского безвременья, но единственный мост.

Чем сильнее лирический поэт, тем полнее судьба его отражается в стихах. Стихи Григорьева отражают судьбу его с такою полнотой, что все главные полосы его жизни отпечатались в них ярко и смело. Даже большинство переводов Григорьева созвучно с его душою, несмотря на то, что он часто работал по заказу: еще один признак истинного художника.

Детство и юность человека являют нам тот Божественный план, по которому он создан; показывают, как был человек «задуман». Судьба Григорьева повернулась не так, как могла бы повернуться, — это бывает часто; но о том, что задуман был Григорьев *высоко*, свидетельствует и жизнь, не очень обычная, а еще более, пожалуй, чем жизнь, — стихи.

В девятнадцать и двадцать лет Григорьев уже писал те стихи, за которые поэзию его можно прежде всего полюбить. Фет и Полонский свидетельствуют, что сам он приходил от них в отчаяние.

«Писал Аполлон и лирические стихотворе-

ния, выражавшие отчаяние юноши по случаю отсутствия в нем поэтического таланта. «Я не поэт, о Боже мой!» – восклицал он:

*Зачем же злобно так смеялись,  
Так ядовито надсмехались  
Судьба и люди надо мной?» [44]*

Полонский впоследствии обозвал стихи Григорьева «смесью метафизики и мистицизма» [45]. Слова эти, конечно, принадлежат не высокому лирику, а почтенному Якову Петровичу, который подпортил интересные воспоминания свои глуповатым либерализмом. В действительности юношеские стихи Григорьева наиболее роднят его с Фетом, а через Фета – с Пушкиным.

Вот два ряда стихотворений той поры: первый ряд: «Комета» («Когда среди сонма звезд...»), «Е. С. Р.» («Да, я знаю, что с тобою...»), «К Лавинии» («Для себя мы не просим покоя...»), «Женщина» («Вся сетью лжи...»), «Над тобою мне тайная сила дана...», «Обаяние» («Безумного счастья страданья...»), «Волшебный круг» («Тебя таинственная сила...»), «Доброй ночи», «Еще доброй ночи», «Мой друг, в

тебе пойму я много...». Второй ряд: «Тайнаскуки» («Скучаю я...»), «Прости» («Прости, покорен воле рока...»), «О, сжался надо мной...», «Две судьбы» («Лежала общая на них...»), «Нет, никогда печальной тайны...».

В первом ряду есть определенное утверждение связи с возлюбленной в вечности (увы! – в последний раз); ощущение крайней натянутости мировых струн вследствие близости хаоса; переливание по жилам тех демонических сил, которые стерегут поэта и скоро на него кинутся. – Во втором ряду – убыль «стихийности», признаки близящегося «атеизма», звуки надтреснутой человеческой скрипки.

Душевный строй истинного поэта выражается во всем, вплоть до знаков препинания. Мы не можем говорить вполне утвердительно, ибо не сверялись с рукописями, но смеем думать, что *четыре точки* в многоточии, упорно повторяющиеся в юношеских стихах и сменяющиеся позже *тремя точками*, – дело не одной типографской случайности. Не наше дело – раскрывать «профессиональные тайны» художников, это завело бы нас дале-

ко; потому мы ограничиваемся только тем, что отметим эти *четыре* точки, так же как досадное обилие запятых; последнее гораздо менее интересно и свидетельствует разве только о душевной *оторопи*, от которой не было спасенья поэту.

Вторая, «петербургская» пора жизни была самую плодovитой. Григорьев говорит [46], что начал писать «напряженнейшие стихи» и «городил в стихах и повестях ерундищу непроходимую, но зато свою, не кружка». Плетнев утверждал, что петербургские стихи Григорьева «читать страшно по атеизму». Действительно, за звучащими все чаще минорными (гражданскими) нотами чувствуется борьба неравная: борьба человеческих сил с теми силами, которых человеку одному не одолеть. Тут-то (через пять-десять лет после смерти Пушкина!) в стихи начинают втираться выражения: «до пошлости смешной жребий», «он сочувствовал волнующим нас вопросам», «пара ярких глаз», «знойная физиономия» – и многое другое. Еще сохранились детские четыре точки, но стихи стали уже многословнее и небрежней. Нежный инстру-

мент – душа поэта – страдает нестерпимо: струны его рвет и терзает «интеллигентный гитарист». Много голосов слышится в стихах Григорьева этой поры: то молитвенный (доселе неочтенные «Гимны» [47], отмеченное язвительной критикой «зане»); то цыганский (вечные «вполне», «сполна», «порой»); то «гражданский» («Город», «Героям нашего времени», «Нет, не тебе идти за мной»). В «Гимнах» и других стихах критики, улавливая словечки *зане*, *больной* и т. п., прозевали слова о великой радости; зато «гражданские» стихи, несмотря на то, что в них есть действительно прекрасные строфы, дали всем критикам повод для похвал (за либерализм).

Самые большие (по размеру) памятники петербургского периода – драма «Два эгоизма» и пять поэм («Олимпий Радин», «Видения», «Встреча», «Отпетая» и «Предсмертная исповедь»). В драме, полной цыганства, масок, вина, карт, отравлений и «расставаний в безмолвном и гордом страдании», Григорьев возвышается временами до лермонтовской прозорливости (именно лермонтовское было в нем тогда особенно сильно). Зато поэмы

свидетельствуют более о том, как сам себя умаял поэт, путаясь в убогой психологии «несчастной любви» и не находя для этой любви истинных и достойных ее истолкований. Оттого так мелка ирония и так бедно действие этих поэм: «благородный атеист» (и фамилия-то у него «Моровой»!), не признающий «законов света» (о «свете» довольно по-замоскворецки: «И кончик ножки из-под платья из общих дамских ног изъятье» (!?), страдальчески и вдохновенно проводит время с любимой женщиной в... разговорах:

*Они идут и тихо говорят,  
О чем?.. Бог весть...  
(« Видения »)*

*...Идут  
Они давно уж вместе двое  
И разговор живой ведут.  
(« Встреча »)*

В москвитяниновском периоде жизни Григорьев предался критике, отчего стихов стало меньше. Если не считать «Искусство и правду» (все-таки не такую безнадежную прозу, как думать принято), Григорьев, однако, оста-

вил такое прекрасное стихотворение, как «Вечер душен, ветер воет» («Борьба») и такие единственные в своем роде перлы русской лирики, как «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная...» и «Две гитары» (там же). Все эти три стихотворения приближаются уже каким-то образом к народному творчеству: непрерывной мелодией, отсутствием прежних досадных («психологических») спотыканий и перебоев.

Европа сообщила григорьевской музе сравнительную четкость, мало ей свойственную. Надышавшись насыщенным древностью воздухом, Григорьев понял острее свое; он сознал себя как «последнего романтика», и едкая горечь этого сознания придала стихам его остроту и четкость, что сказалось даже в форме: в стихотворении «Глубокий мрак» (из «Импровизаций странствующего романтика») форма и содержание – почти одно целое; поэма «Venezia labella» [48] написана «сонетами» (хотя в седьмом и двенадцатом – по 15 строк!!), потому что эти «формы держат душу в приличной узде».

Владения последнего романтика – «лишь в

краях мечты». Он окружен «глубоким мраком», откуда возникает порою чей-то «девственный, необычайный, дышащий страстью лик» и вырывается «страшный вопль знакомой скрипки». Душа уже проникнута безочарованием: «устала таинственному верить»; «пора привыкать блуждать по морю senza amare» [49] (о, страшная русская игра! Кто шепнул ему, что можно в самом деле senza amare andare sul mare [50], – и не погибнуть?).

Как это произошло? – в нем «билась какая-то неправильная жила». Он впустил к себе в душу какие-то чужие «слепо-страстные, иль страстно-легкомысленные души». И вот

---

*...жестоко*

*Наказан я за вызов темных сил...*

*Проклятый коршун памяти глубоко*

*Мне в сердце когти острые вонзил,*

*И клювом жадным вся душа изрыта*

*Nel mezzo del cammin di mia vita! [51]*

Напрасное обольщение! – Гибель была ближе, чем думал поэт: эта «средина жизненной дороги» была в действительности началом ее конца. Во всей непреложности встала

старинная угроза: уже не воля Погодина, не воля Фета, а то первоначальное: *светлый сильф с душой из крепкой стали*, которого «так любить другому, кто б он ни был, невозможно».

В последний раз кинулись на Григорьева финские белые ночи, «сырые ночи Полюстрова». Последняя поэма, также лишенная действия, как первые, – уже какой-то раздирающий крик, «кусочек живого мяса, вырванного с кровью» [52]. Совесть и «адская печаль» терзают: «Если б я кого убил, меня бы так не грызла совесть». Забвение – только в вине, которое вначале – «древний дар Лиэя», а под конец – проще:

*...Знобко... Сердца боли  
Как будто стихли... Водки, что ли?*

Последние стихи обращены к «далекому призраку». Теперь это лик «карающий и гневно-скорбный». Поздно!

Последнее слово в стихах – бедная, бедная метафора: «обитель идеала»; такая же бедная, как слова о «Великом Художнике», о Калиостро и столоверчении; как тот интеллигент, ко-

торый сидел в Григорьеве и так и не был побежден до конца Григорьевым-поэтом; как вечные заглядыванья в душевный хаос, в «человеческое», без догадки взглянуть на небо.

Я приложил бы к описанию этой жизни картинку: сумерки; крайняя деревенская изба одним подгнившим углом уходит в землю; на смятом жнивье – худая лошадь, хвост треплется по ветру; высоко из прясла торчит конец жерди; и все это величаво и торжественно до слез: это – наше, русское.



## Примечания

1

Л. Гроссман. Основатель новой критики. – «Русская мысль», 1914, XI.

2

В дальнейшем изложении я стараюсь держаться первоисточников, то есть свидетельств самого Григорьева и людей, ему близких: Погодина, Фета, Страхова и др. Потому оговариваю, что не все чужие выражения ставлю в кавычки, «чтоб множество не накопилось их».

3

«Время», 1862, XI.

4

Барсуков. Жизнь и труды Погодина.

5

«Время», 1862, XI.

6

Москва и Петербург, заметки зеваки А. Трисмегистова. – «Московский городской листок», 1847, № 88.

7

Влад. Княжнин. О нашем современнике А. А. Григорьеве. – «Любовь к трем апельсини-

нам – журнал доктора Дапертутто», 1914, № 4–5.

8

«Репертуар и Пантеон» 1844 года, т. VIII, стр. 738 и ел. Статья без подписи, но озаглавлена: «Заметки петербургского зеваки».

9

Воспоминания А. Я. Головачевой-Паначевой. – «Русские писатели и артисты». СПб., 1890, стр. 111.

10

Александр Гумбольдт.

11

Сам Григорьев думал, что он «равнодушен к красотам природы». За ним это повторили другие. Правда, он понимал природу как-то лихорадочно и торопливо; говорил с ней на своем языке, на ее языке говорить не умел; так уж был он мало «стихиен» и такое было «человеческое» время.

12

Полночь, глубокочтимая полночь (нем.)

13

См. статьи Григорьева: «Последний фазис любви» и «Любовь в XIX веке» («Репертуар и

Пантеон», 1846, XVI).

14

До Погодина дошли «неблагоприятные слухи», и зарницы его стали уже поблескивать вдали; пришлось писать оправдательные письма – и Григорьеву и приятелю его Межевичу – за него.

15

Ал. С. («Репертуар и Пантеон», 1846, XV, 102).

16

Остепенением своим Григорьев не упустил похвастаться Погодину (Барсуков. Жизнь и труды Погодина). Должно быть, оно ему стоило не дешево.

17

«Время», 1862, XI.

18

Барсуков. Жизнь и труды Погодина.

19

Сочинения А. Григорьева. I, 55–56; вот образец стиля! «Нравственный идеал», «протест» «нравственное полномочие», «поколику»... Какая глубокая мысль и какие убогие су-конные слова!

20

К «Ниве» приложен.

21

В. В. Розанов. К 50-летию кончины  
Ап. А. Григорьева. – «Новое время», 26.IX.1914  
(№ 13844).

22

Д. В. Григорович. Воспоминания. – «Русская  
мысль», 1893, 11, 56–83.

23

С. А. Венгеров. Молодая редакция «Москви-  
тянина» («Вестник Европы», 1886, II).

24

Н. Н. Страхов. Воспоминания.

25

Он уж стал редактором «Москвитянина».

26

Осенью 1857 года уехал за границу с Тру-  
бецкими.

27

«Время», 1862, XI.

28

«Письма к Е. С. Щротопоповой), впослед-  
ствии Б(ородиной), сообщил Н. Н. Страхов». –  
«Эпоха», 1865, II; письма к М. П. Погодину –

29

полусвет (фр.)

30

первые плоды (фр.)

31

реабилитация плоти (фр.)

32

Обновление «Москвитянина».

33

Отдельные черты взяты из «Воспоминаний» В. С. Серовой («Русская мысль», 1912–1913, и СПб., 1914), А. П. Милюкова («А. Григорьев и Л. Мей». – «Исторический вестник», 1883, 1), П. Д. Боборыкина («Голос минувшего», 1913, 3), Н. Н. Стрхова и др.

34

П. Юдин. К биографии А. Григорьева. – «Исторический вестник», 1894, XII.

35

Н. Н. Стрхов. Воспоминания о А. А. Григорьеве. С примечанием Ф. М. Достоевского. – «Эпоха», 1864, IX, стр. 1 – 55.

36

В подлиннике – несколько имен, а слово

«пройдут» принадлежит редактору, у Григорьева – несколько крепких ругательств.

37

Так Григорьев называл «либералов» вообще.

38

Я хотел бы, чтобы читатель сравнил мысли из этих писем Григорьева с мыслями из замечательных книг В. В. Розанова – «Уединенное» (СПб., 1912) и «Опавшие листья» (СПб., 1913).

39

Журнал «Якорь», 1863 года, под управлением Григорьева не выдержал и года.

40

Хотела дешево купить его сочинения?

41

«Иди и молись» (нем.)

42

Боборыкин «Голос минувшего», 1913, № 3.

43

Глава первая, VI.

44

Фет. Ранние годы моей жизни, стр. 152.

45

Я. П. Полонский. Студенческие воспоминания. – «Нива», 1898 (Литературное приложение, № 12).

46

«Краткий послужной список».

47

Например, г. Спиридонов полагает, что это «произведения более чем слабые» («Современник», 1914, октябрь.)

48

«Прекрасная Венеция» (ит.)

49

без любви (ит.)

50

без любви блуждать по морю (ит.)

51

В середине моего жизненного пути (ит.)

52

«Разговор с Ив. Ив.». – «Сын отечества», 1862.